

из свертков посыпались соевые конфеты... Начали останавливаться прохожие. Женщина-экспедитор собирала конфеты, и, заподозрив недоброе, размахивала руками, надеясь не допустить их расхищения. “Это для детдомовцев”, – крикнула она... И произошло то, на что она, может, и не надеялась: люди в передних рядах окружили санки, сомкнулись, взявшись за руки и стояли до тех пор, пока всё не было собрано и упаковано». Для Ярова здесь принципиально важно не только единодушие, но и его органичная форма – «взявшись за руки», и он выделяет эти слова в цитате курсивом. Вот ещё один случай: «Умерла мать, брат и сестра отдали “карточку” за то, чтобы её похоронить. Продукты кончились, они пошли к магазину просить милостыню». У дверей магазина мальчик заметил, как сестра «вдруг начала оседать, глаза у неё начали стекленеть». Их спасла женщина, вышедшая из магазина: «Спросила, что случилось, отложила от своей нормированной порции кусочек хлеба с половину спичечного коробка и сунула сестре в рот. Та проглотила хлеб, открыла глаза и ожила». Самое непостижимое явление в событиях блокады – несмотря на все ужасы, люди находят в себе силы оставаться людьми. И нельзя не согласиться с Яровым: «Когда мы говорим о ленинградской трагедии, то, может быть, главное состояло не в том, всегда ли человек был способен проявить сострадание, а в том, что он находил в себе силы хотя бы однажды выразить его». Автор монографии, сломав чуть отстранённую публицистичность стиля, свойственную книге в целом, здесь пишет с почти библейской интонацией: «Вся блокадная повседневность свинцовой тяжестью втаптывала человека в грязь – как здесь быть готовым к милосердию и любви? И было сочувствие – у изголовья тех, кто умирал, мы видим их родных и друзей, если они ещё были живы. И было милосердие – хлеб, оставленный для себя, оказывался в протянутой руке ребенка. И было ещё одно чувство – это боль».

Ещё во время войны О. Берггольц горько призналась самой себе: «Для слова – правдивого слова о Ленинграде – ещё, видимо, не пришло время... Придёт ли оно вообще?». Это время всё-таки наступило, и один из важнейших шагов на пути к долгожданному «правдивому слову» – книга С. Ярова «Блокадная этика».

Анна Иванова: Пространство ужаса и приметы «обычной» жизни

Во время блокады публично говорить о масштабах происходящей в городе катастрофы было запрещено: письма из города цензурировались, по радио передавались только героические новости², в выпущенном в 1942 г. фильме «Ленинград в борьбе», подвергшемся жёсткой цензуре, остались в основном рассказы о народном ополчении и успехах ленинградских оборонных заводов. Официальное объяснение этого состояло в том, что немцы не должны знать, какие трудности переживает город. К тому же нужно было вселить уверенность в советских гражданах, живущих за пределами Ленинграда. В подобной пропагандистской политике, возможно, был свой смысл для военного времени, однако советская власть не отказалась от неё и в последующие годы. В условиях холодной войны врагом, который не должен был узнать о наших, пусть даже давно минувших слабостях, стал Запад, советским же людям не следовало проявлять интерес к неприглядным сторонам военного прошлого. В официальной

² Черепенина Н.Ю. Голод и смерть в блокированном городе // Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. СПб., 2001. С. 64–65.

историографии блокада Ленинграда по-прежнему представлялась главным образом как пример героической борьбы³.

За последние 20 лет в условиях идеологической свободы и открытости многочисленных архивов число исследований разных аспектов блокадной жизни постоянно растёт. Помимо академических исследований, как российских, так и зарубежных, выходит всё больше дневников и воспоминаний о жизни Ленинграда в 1941–1944 гг., публикуются интервью с блокадниками. Голодная жизнь мирного населения в осаждённом советском городе по-прежнему представляется вопросом невероятной важности не только в рамках изучения истории Второй мировой войны, но и для понимания сущности советской власти, а также человеческой природы в целом. Особенно остро в этом контексте воспринимаются личные свидетельства людей, переживших блокаду.

Книга С.В. Ярова основана именно на таких документах: дневниковых записях, отчасти мемуарах и интервью. Автор отмечает, что дневник был в каком-то смысле одним из способов выжить в физически невыносимых условиях (с. 533–535). Именно поэтому особенно пронзительными среди приводимых Яровым цитат выглядят те, где человек уже находится на грани выживания, но продолжает осознавать себя при постепенном распаде личности: «Дойти я, конечно, не могу. Кисулька повезёт меня на санях. Это очень унижительно, но ничего не поделаешь, хочешь жить – не смотри на это... Киса... не даёт ничего в руки, чтобы я не тратил оставшихся ещё сил. Меня это очень угнетает, но я ничего поделать не могу. Я в её власти, она знает, что делать со мной и что мне лучше» (с. 49).

XX век знает много примеров пребывания человека в экстремальных условиях, прежде всего это опыт концентрационных лагерей. История блокадного Ленинграда, тоже своеобразного места принудительного содержания в невыносимых условиях, кажется в этом ряду особенной, во многом именно благодаря огромному количеству дневниковых свидетельств. В отличие от лагеря, в военном Ленинграде люди, несмотря на физические страдания, продолжали жить в своих домах, ходить на работу, общаться с друзьями и вести дневники. Фиксирование всего происходящего в дневнике было во многом попыткой осмыслить странный взор между сохранением многих прежних форм жизни и их новым жутким наполнением. Л. Гинзбург так описывает в своих блокадных записках это несоответствие: «Зимой в распоясавшемся хаосе казалось, что ваза и даже книжные полки – нечто вроде Поганкиных палат или развалин Коллизея, что они уже никогда не будут иметь практического значения (вот почему не жалко было ломать и рубить). Потом вещи начали медленно возвращаться к своему назначению»⁴. В книге Ярова встречается довольно много парадоксальных примеров сохранения в блокадной жизни казалось бы «неуместных», нарушающих пространство ужаса примет «обычной» жизни. Он приводит свидетельства о том, что в период острейшего голода в театр и филармонию по-прежнему стояли очереди за билетами (с. 484–485), цитирует дневник истощённой девушки, которая, пойдя на рынок, чтобы купить хоть что-то съедобное, вместо этого приобрела красивые открытки (с. 489), а также упоминает

³ Ломагин Н.А. Дискуссии о сталинизме и настроения населения в период блокады Ленинграда: историография проблемы // Память о блокаде: свидетельства очевидцев и историческое сознание общества: материалы и исследования. М., 2006. С. 300.

⁴ Гинзбург Л. Проходящие характеры. Проза военных лет. Записки блокадного человека. М., 2011. С. 316.

многочисленные случаи приезда в блокадный город людей «с воли», ужасавшихся ленинградской жизни (с. 198, 499) – проницаемость блокадного ужаса тоже кажется парадоксом.

Хотя структурно книга Ярова разделена на главы по тематическому принципу – о понятиях чести и милосердия, об отношениях между родственниками, соседями, начальниками и подчинёнными, о способах поддержания присутствия духа – продуктивнее было бы выделить в ней два пласта. Первый – проблемы повседневной жизни: взаимоотношения людей, стратегии обеспечения быта, социальное неравенство. Второй – базовые экзистенциальные сдвиги: прежде всего, отношение к еде и смерти. Для самого автора признаками распада нравственных норм в блокаду были «обман, воровство, грабёж и мародёрство» (с. 52). Однако все эти виды «аморального» поведения свойственны и мирному времени. Больше же всего удивляет в свидетельствах, приводимых Яровым, то, насколько в рамках первого выделенного выше пласта проблемы блокадного быта были похожи на черты обычной повседневности, лишь слегка гипертрофированные. Так же, как и в условиях вечного советского дефицита, основными способами жить лучше, чем остальные, в блокадном Ленинграде становились приближённость к власти, наличие связей и знакомств, воровство на месте работы. Так, Яров рассказывает о том, что начальство имело право на «бескарточную» еду (помимо той, которую они получали по карточкам) (с. 105, 381, 415), что через знакомых и с помощью взяток можно было получить место в поезде, увозившем людей в эвакуацию (с. 94, 415), что люди, работавшие, на «хлебных» местах – на хлебозаводе, в магазинах и детских яслях – всегда питались лучше, потому что могли присваивать казённую еду (с. 121, 146, 151). При этом удивительно, что в экстремальных условиях изворотливым людям удавалось, как и в мирное время, накапливать состояния, жить почти шикарно: Яров приводит свидетельства о том, что у некоторых продавщиц «все руки унизаны браслетами и золотыми кольцами» (с. 150), а работница пекарни приобрела себе в марте 1942 г. пианино (с. 154).

Как и в обычной жизни, в блокадном Ленинграде людям приходилось делать выбор между моральным и аморальным поведением, только случалось это чаще и зависело от этого выбора больше. Судя по приводимым в книге свидетельствам, находилось достаточно примеров как помощи ближнему (людей согревали, делились с ними хлебом, брали к себе сирот), так и отказа от неё (падающим на улице людям не помогали подняться, умирающим родственникам не сочувствовали). Также вполне традиционным, хотя и гипертрофированным было желание всеобщего экономического равенства и ненависть к любым чем-то выделяющимся в смысле питания людям: Яров приводит историю о том, как «розовощёкую пышнотелую девушку выгнала из бани истощённая женщина со словами “Эй, красотка, не ходи сюда – съедим”, под смех остальных посетителей» (с. 111).

Но гораздо существеннее, как кажется, были произошедшие в блокаду в сознании людей сдвиги в базовых экзистенциальных представлениях. Так, представления о том, что человек может употреблять в пищу, конституируют культуру⁵, и больше всего при чтении дневников поражает именно всеядность

⁵ Haidt J., Koller S., Dias M. Affect, culture and morality, or is it wrong to eat your dog? // *Journal of Personality and Social Psychology*. 1993. № 65. P. 613–628; *The Psychology of Food Choice* / Ed. R. Shepherd and M. Raats. Wallingford, 2006; *Harris M. Good to eat: riddles of food and culture*. N.Y., 1985.

блокадников. При этом если нарушению повседневных нравственных норм типа отказа от помощи ближнему в дневниках обычно уделяется много внимания, то поедание свечей, костяных пуговиц, клея и машинного масла лишь бегло упоминается (с. 45). Даже употребление в пищу домашних животных трактуется скорее с точки зрения питательности, а не нарушения норм человеческой цивилизации. Конечно, наивысшим проявлением нарушения моральных норм в этом плане являлся каннибализм. В дневниках фиксируется обнаружение на улицах трупов с отрезанными кусками плоти, однако реальных случаев каннибализма не описывается. Исследовательница блокады Л. Киршенбаум отмечает, что каннибализм в дневниковых записях представляется как некое стихийное бедствие, «что-то, что делают с ленинградцами, а не то, что делают они сами»⁶.

Существование каннибализма было связано с эрозией во время блокады и другого базового нравственного основания – традиционного отношения к умершим. Действительно, уважение к смерти и ритуалы обращения с мёртвым телом – то, что отличает человека от животного⁷. В период блокады эти базовые нормы нарушались и на словах, и на деле. В дневниках люди радовались смерти близких, поскольку это позволяло им отоварить их карточки и избавляло от обузы, а также жаловались на то, как осложняют жизнь трупы (с. 335–337). И если в начале массовой гибели людей в декабре 1941 г. погребальный ритуал ещё соблюдался, то уже через пару месяцев похороны прекратились, а трупы стали бросать во дворах, в подвалах, на лестничных клетках (с. 338–348). Трупы родных также часто прятали дома, чтобы продолжать получать их карточки (с. 351). Конечно, как только самое голодное время прошло, ритуальные нормы в отношении мёртвых восстановились, однако, как кажется, именно это нарушение базовых моральных представлений отражает степень катастрофичности положения в Ленинграде зимой 1941–1942 гг.

Наконец, ещё одна сторона нравственной системы ценностей в Ленинграде, определявшая блокадную жизнь (она специально Яровым не оговаривается, но прослеживается по приводимым им цитатам) – отношение власти к гражданам. Собственно, приоритеты власти ничем не отличались от советских установок мирного времени, но именно в жутких условиях блокады проявились с особенной выразительностью. Главным принципом для государства был приоритет победы в войне, при котором отдельный человек оценивался с точки зрения его полезности для общего дела. Так, нормы выдачи хлеба зависели от того, какую роль он выполняет: рабочим (прежде всего оборонных заводов) полагалось в два раза больше хлеба, чем инвалидам и детям, а тем, кто не работал «без уважительной причины», карточки вообще не полагались. Согласно государственной логике, людей, способных что-либо делать, предполагалось оставить в городе и кормить, а людей «ненужных», в частности многодетных матерей, – эвакуировать. Однако провести справедливый отбор, а затем как следует его организовать, конечно, не представлялось возможным (с. 122–124). При этом те, кто должен был остаться в городе и работать, ранжировались в зависимости от степени полезности. Самыми ценными считались государственные и партийные функционеры (с. 411), а также главы предприятий (с. 385). Среди рядовых работников тоже выделялись более и

⁶ *Kirschenbaum L.A.* The Legacy of the Siege of Leningrad, 1941–1995: Myth, Memories and Monuments. N.Y., 2006. P. 240.

⁷ *Lieberman P.* Uniquely Human. Cambridge (Mass.), 1991. P. 164, 171–172.

менее полезные. Яров приводит воспоминания директора завода: «Я сам регулировал этот вопрос, чтобы спасти основные нужные кадры, делал это за счёт менее ценных работников» (с. 388). При этом одновременно положение людей ухудшалось тем, что с них продолжали собирать военные займы (с. 140), заставляли их убирать с улицы нечистоты и трупы (с. 188), отнимали у них дрова на нужды госпиталей (с. 185), изымали хлеб, купленный на чёрном рынке (с. 126). Помимо этого в блокадном городе арестовывались и расстреливались тысячи людей: как за воровство продовольствия и спекуляцию, так и по политическим мотивам⁸.

С другой стороны, следствием заботы об «общем деле» был приоритет борьбы с антисанитарией: создавались комсомольские бытовые отряды, которые должны были обходить квартиры в поисках трупов, а заодно и помогать истощённым людям (с. 551–552). Чтобы заставить людей избавляться от трупов умерших родственников, которые они прятали дома, власть через некоторое время официально разрешила пользоваться карточками умерших (с. 396). Государство заботилось о жизни людей, но лишь в глобальных масштабах, не думая о конкретных жизнях.

Симптоматичны в данном отношении представления блокадников о врагах. Если в условиях фашистского концлагеря люди были объединены общей ненавистью к захватчикам, то в Ленинграде 1941–1944 гг. те всё-таки были далеко. Яров приводит следующее дневниковое свидетельство: «Постепенно совершенно прекратились разговоры о немцах, их считали чем-то вроде стихийного бедствия... прошедшего стадию кульминации» (с. 470). Помимо незримых немцев в качестве врага порой воспринималась и власть, не делающая всего возможного для спасения людей. Но главными врагами становились окружающие – спекулянты и просто живущие лучше других (с. 156). Л. Гинзбург пишет о том, что даже собственное тело в блокаду оказывалось врагом: «Враждебный мир, наступая, выдвигает аванпосты. Ближайшим его аванпостом оказалось вдруг собственное тело... оно было вечной потенцией страданий – со своими всё новыми углами и рёбрами... Зимой, пока люди открывали в себе кость за костью, совершалось отчуждение тела, расщепление сознательной воли и тела как явления враждебного внешнего мира»⁹.

Книга Ярова вызывает много интересных вопросов, которые, к сожалению, не освещены в самом исследовании. Прежде всего, это вопрос о понятии моральных норм вообще. Очевидно, что представления о нравственности меняются со временем и разнятся от культуры к культуре. Очевидно также, что экстремальные условия видоизменяют норму, а государственное устройство накладывает на неё свой отпечаток. Интересно было бы сравнить поведение людей в блокадном Ленинграде с ситуацией в лагерях – советских и немецких, – а также в голодающих областях СССР в 1932–1933 гг. Продуктивно было бы проследить и то, как в принципе влияют на моральные представления военные условия, а также понять, насколько нравственные основания были изменены советской властью.

⁸ *Ломагин Н.А.* Неизвестная блокада. Т. 1. М., 2002. С. 164–205; *Иванов В.А.* Миссия Ордена. Механизм массовых репрессий в Советской России в конце 20–40-х гг. (на материалах Северо-Запада РСФСР). СПб., 1997. С. 240–300; *Белозёров Б.П.* Противоправные действия и преступность в условиях голода // Жизнь и смерть в блокированном Ленинграде. СПб., 2001.

⁹ *Гинзбург Л.* Указ. соч. С. 314.